

Страшно умирать на войне. Даже не по-настоящему

# ГВАРДЕЙСКОГО ПОЛКА

носно поглядывая на поверженного противника.

Пленный жадно впивался глазами в того, кто говорил, потому что было ясно, что сейчас все, что ни говорится, имеет отношение к его судьбе.

— Ах ты, сволочь! — прохрипел командир нашей роты Целиков, подошел к пленному и со всего маху ударил его ладонью по щеке — ударил сильно и больно, так что тот пошатнулся. Было в этом поступке что-то грубое и жесткое, гадкое и непонятное для всех нас, рядовых свидетелей. Мы растерянно переглядывались, словно говоря: «Вот это да... Зачем это?..» Мы знали, что Целиков чаще всего, сколько мы замечали, раздав взводы по ротам, сам оставался вдали от места боя и потому менее других имел право сводить счеты с немцами и выходить из себя. Да и конвоир мог подоврать малость: отстреливался тот, не отстреливался... Командир батальона Котляров поблагодарил тогда, сделал несколько шагов к Целикову и, не стесняясь нашего присутствия, медленно, но властно проговорил:

— Прекратить, Целиков! Туда вон иди, — показал он глазами и рукой в сторону пулеметной трескотни и орудийного гула за лесом. — Там их много.

И бросил конвоиру:

— Веди в штаб полка.

Однако рассказ Вычужанина о приключениях в разведке нам понравился. В нем было много необычного, непохожего на то, что мы сами видели до сих пор, да и нынче тоже: пыль, гарь, «и смерть и ад со всех сторон» — ничего красивого и героического.

## «АДЫН ХОХОЛЬ»

Прозаичным было и то, что мы увидели у комбата. Командный пункт батальона расположился в метрах восьмистах позади наших пулеметов. В глубоком окопе, выкопанном в старой канаве, бывшей оградой не то кладбища, не то какого-то иного заповедного места, «загорали» капитан Котляров и с ним около десятка управленцев. Земля на бруствере превратилась в пыль, пылью были припудрены и лица людей, и одежда. Мы привыкли видеть комбата подтянутым, стройным, гладко выбритым, с образцовой военной выработкой кадрового офицера. Теперь же он ничем не отличался от своих рядовых товарищей. Лицо запяленное, губы слипшиеся, сухие, взгляд усталый и грустный. Весь сутулившись, он отошел от стереотрубы и приветливо, но холодно с нами поздоровался. Окружение его смотрело на нас недружелюбно, недоумевающе-отчужденно. Искренне рад нам был только Ваня Широков, бывший ординарец командира нашей роты, теперь взятый с теми же обязанностями к Котлярову.

— О-о-о, гвардии младший сержант Никабидзе, — с улыбкой и громко проговорил он, довольно удачно имитируя грузинский акцент нашего спутника и, как будто хвастаясь перед нами, что он, как и в пульроте, на короткой ноге с новым начальством. — Скучаем за вас, да?

Все улыбнулись, в том числе и Никабидзе.

— Это я их пригласил, — сообщил Вычужанин. — Вот решил зайти к вам, товарищ комбат.

— Спасибо, — дежурным словом отозвался Котляров. — А чего это ты обещался гранатами? Ведь детонировать могут, без кишок останешься.

— Да жарко же было, товарищ комбат, подумал, как бы не пришлось вспомнить Сталинград, ведь тогда и гранаты пригодились.

— Ну, Сталинград Сталинградом, а ты лучше сними эти побрякушки. Будет и легче, и безопаснее.

Вычужанин повиновался. Наступившее молчание снова прервал Ваня.

— Товарищ гвардии сержант Никабидзе, расскажи что-нибудь, — в голосе его опять проблеснули нотки иронии.

— Хохоль ты... — начал Никабидзе с неудовольствием, но Ваня будто ждал этого.

— Адын хохоль, — подхватил он — мы эту побасенку знали уже давно, — на базар пошел, на базар пошел — денга нашель. Деньга нашель — водка купил. Водка купил — з ума зошель.

Все засмеялись и посмотрели на Никабидзе, а он, довольный, прятал улыбку.

Улыбнулся и Котляров, но как-то устало, только краем губ, глаза же оставались по-прежнему грустными и озабоченными. Вычужанин же переменил тему разговора, намекнув, наконец, на неразворотливость кухни: обеда-де почему-то не было.

— А это я распорядился. Кругом же открыто, никак не подыхать. Ничего, перебежусь сухим пайком. Так, хлопцы? — обратился к нам комбат. — Вы кушали сегодня?

— Кушали, сыты, — ответили мы с Никабидзе, и оба наврали. Что мы кушали — это была правда, но скушали мы свои ИЗ не сегодня, когда не привезли обед, а еще вчера, почти сразу после ужина. Никоба возился в мешке возился, соя по обыкновению, затем вынул тушенку, достал ножик и начал резать.

— Ты что, Эзекия?

— А чего? Давай есть, Гудинов: завтра, может, убито...

Я не возражал, и мы поели. А сегодня прикончили остатки сухариков. А из-за сегодняшнего арналета теперь задержка с кухней. Мучайся теперь!

Комбат, видимо, ни на минуту не был свободен от тяжелых дум по случаю сегодняшней неудачи, хотя и хотел это скрыть от посторонних. И сейчас, словно спохватившись, он вдруг улыбнулся свежей улыбкой и, обращаясь ко мне, спросил:

— Ну, как дела, Кудинов? Здоров? Все болезни прошли?

Это он вспомнил о моей зимней болячке, когда по заключению военфельдшера я не мог идти в строю и тянуть лямку от «саней» с пулеметом на марше и этим вызывал неудовольствие многих. Своим вопросом комбат как бы хотел сказать, что все эти прошедшие неприятности он вспомнил сейчас как смешное недоразумение. Я внутренне просиял оттого, что он помнит меня и, видимо, считает не из последних, и оттого, что он обратился именно ко мне — дружески и просто.

— Хорошо здоровые, товарищ гвардии капитан. Все на пользу пошло, — бодро ответил я. — А вот что мы сейчас у вас — это никогда не забудется, — прибавил я неожиданно для самого себя и сам смутился. Последние слова, как мне показалось, не понравились Котлярову. Опять выручил Вычужанин.

— Вот только похудел немного, — сочувственно сказал он про меня.

— Может быть, — безразлично согласился Котляров. — Сейчас бы хорошую баню, сто пятьдесят граммов и... спать... Лег бы я как попало и проспал бы двое суток, не шелохнувшись, — горько усмехнулся он.

## Человек особой породы

Он казался нам, солдатам, человеком особой породы, не ведающим ни страха, ни усталости, а вот выходит, что он такой же, как и мы. Тоже спать, оказывается, хочет... И это его заявление про баню, про водку прозвучало так обыденно и просто, что комбат сразу показался ближе, роднее, что ли... Тут рушилась перегородка между командиром и простыми рядовыми. Чувство жалости, сострадания он, конечно, никак вызвать не мог, а вот уважения — да.

Всю обратную дорогу я думал о Котлярове. Да, не шутя говорили о нем офицеры, его товарищи, что у комбата «язык на плече» уже до

начала дела, будь то марш или наступление, полковые учения или рядовой, самый будничнейший день в жизни батальона. А в деле всегда и везде Котляров на своем месте. Это он на марше от Ельца до передовой всегда маячил впереди батальона, в голове колонны, и ни разу не сел ни в повозку взвода управления, ни на лафет батальонной пушки, ни на попутку, как делали все офицеры — его подчиненные разных рангов. А на привале, когда люди валились с ног и падали плашмя, засыпая хоть на три-четыре минуты, один Котляров опять же был на виду, обходя колонну, останавливаясь возле каждого подразделения, шутя и подбадривая, — в полушубке, в галифе и хромовых сапожках. Стройный, легкий в походе, упруго скользил он с ноги на ногу в глубоком сыпучем снегу. Это он просто, безо всякой рисовки, умел жалеть людей везде и всюду, но только не себя.

— Ты, Иванов, ты, Петров... — говорил он некоторым офицерам перед атакой, — вы остаетесь на месте.

Зато сам делал самое страшное — первым выскакивал из траншеи и с криком «Батальон, за мной!» или «Кадеты — вперед!» бежал с пистолетом в руке навстречу смерти.

Кадетами называли в дореволюционной России воспитанников военно-учебных заведений. Так Котляров называл нас, воспитанников Тамбовского пулеметного училища Красной Армии, расформированного на пополнение гвардейских частей. Иронически называл, разумеется. Это он, вернувшись из Москвы, где лечился в госпитале после зимних боев и где жила его семья, при первой же встрече с офицерами сказал с несвойственной усмешкой:

— А что Москва? Москва как Москва. Живет, трудится. Только дом-то мой — вот он, здесь, — и комбат сделал охватывающий жест.

Слова эти мигом стали известны каждому солдату — и не от офицеров, а от такого же солдата, который удивительным образом услышал эту фразу, проходя в это время недалеко от группы офицеров. Да мало ли что тогда говорили! И как он однажды разогнал кухню и за что, и как в котелке у какого-то солдата ворочал ложкой, проверяя качество еды, и чего только не говорили...

Это он, когда посыльный командира полка передал приказ немедленно вести батальон с учений в расположение, а мы только приготовились ужинать в тридцати-тридцати пяти километрах от стоянки, за день изрядно уставшие, — это он с детским шаловливым недоумением спросил: «А ху-ху не хо-хо?» Взрыв громкого разноголосого хохота солдат взвода управления, раскатистого и дробного, одобрительно отозвался на эту дерзость комбата. В наступившей потом тишине Котляров тихо, но отчетливо закончил:

— Накормлю людей, отдохнем, и к утру батальон будет в расположении. Так и передай командиру полка.

— Слушаюсь, товарищ гвардии капитан, — отчеканил связной. — Разрешите возвращаться?

— Только без «ху-ху», — крикнул кто-то вдогонку связному, и тот, попрдержав лошадь, широко улыбнулся, тем самым показывая, что он отлично понимает комбата и согласен с ним полностью.

## Три взрыва

Связному наш комбат тоже понравился. Да иначе, по нашему мнению, и быть не могло: наш комбат не мог не понравиться, с кем бы его судьба ни сводила. Разве только законченные олухи не могли понять его обаяния и юмора. Он был благоден, красив и ладен, как было ладно и красиво все то, что он делал, ибо дела его и поступки несли на себе печать его богатой и цельной природы, светлых и чистых устремлений.



КОМБАК ИРЕНИ ЖУРЯВЛОВОЙ

И когда тот самый командир полка, которому Котляров адресовал столь нелестное выражение, на смотрах приветствовал нас: «Здравствуйте, славный первый головной батальон!» — мы знали, что первым и главным в полку был для него Котляров, и мы приветствовали это.

В приподнятом настроении душевного праздника застал меня Вычужанин, когда пришел к нам уже в потемках с приказом менять огневую позицию. Мы быстро вернулись туда, где были днем. Настроение было такое, что для меня в этот вечер не было ничего страшного. Ни фейерверк пулеметных очередей, ни редкие разрывы поблизости — ничто не трогало меня, а только подзадоривало, даже веселило как будто. И уж совсем стало празднично, когда пролетающий «кукурузник» повесил (скинул) над городом осветительные «лампочки», и все вокруг сказочно преобразилось. Мы оставили все дела, расположились во весь рост на ровной, открытой площадке, любуясь главным движением светящихся кругов, разливающихся мягкий ласкающий свет, и пропустили мимо ушей, как где-то там, за рекой, щелкнули три минометных выстрела, потому что с появлением ночных возмутителей спокойствия немцы обычно вели себя тихо, не рисковали демаскировать себя. И мы совсем не ожидали, что они попытаются помешать нам любоваться красивой иллюминацией и услышать веселое уханье наших бомб за рекой.

...И вдруг — три взрыва, один за другим, и я почувствовал во рту вкус гари и соленой крови, а вместе с этим и безотчетный страх. Никакой боли не было, но я закричал, какие-то звуки полустона выдал.

— Что с тобой, Гудинов? — кричит Никабидзе, успевший нырнуть в окоп.

Я хочу сказать, но язык не слушается. — Господи, что со мной? — в страхе соображаю я, без конца выплевывая обильно прибывающую кровь, не понимая, откуда она и почему язык не слушается. Наконец выдавливаю.

— А-а-а-ни-ло...

— Куда? — спрашивает кто-то. — Поднимайся, — хлопчет Никабидзе. — Можешь подняться? Ноги целы? «А кто их знает», — хочется сказать мне, но я молчу и пробую ноги.

Эзекия под руку помогает мне

подняться. Отойдя немного, я почувствовал боль в плече, она все усиливалась... Никабидзе подвязал мне руку и подвесил на повязке. Шли мы быстро. Пришли в овраг, откуда перед рассветом начинали наступление. Светила луна. Никабидзе уложил меня на спину, разорвал рукав и перевязал рану. И вдруг рванул мою гимнастерку на две полы.

## Полевой госпиталь

— Ой-ой-ой, — удивленно протянул он. У меня вся грудь и живот были в крови. Наибольший осколок торчал чуть ниже пояса, наполовину войдя в живот. Но боль была только в плече. Усадив меня, сослуживец истратил весь индивидуальный запас наших медпакетов и все-таки всего не закрыл.

— Спасибо, Эзекия, — сказал я дрожащим голосом. — Никогда не забуду тебя. Я всегда считал тебя добрым...

— Вы будешь отдыхать, — прервал Никабидзе. — А Эзекия, может, завсем убьет на... Ладна, я банду, там еще кого-то ранило. Потом прийду.

Мне стало дурно. Я лег на спину, потянулся, раскинул руки...

Когда я очнулся, Никабидзе возле меня уже не было. Начинало светать. Послышался скрип телеги. Оказывается, рядом проходила накатанная дорога. Солдат-возница остановил лошадь.

— Жив? — спросил он.

Потом по требованию солдата я сообщил, из какого я полка, батальона, роты.

— А командир батальона знает, что ты ранен и где ты?

— Наверное, нет.

— Командир роты, взвода?

— Командир взвода знает. На его глазах все это случилось.

Наконец, этот дяленька усадил меня на тележку и повез в армейский полевой госпиталь. А Никабидзе, наверное, потом ко мне, в балку не добрался. И, разумеется, решил, что я умер. Видать, ранение ему показалось тогда серьезным. О чем он и сообщил, скорее всего, в части. Так я оказался «погибшим смертью храбрых». И для своих родных, и для сельчан. Похоронка была отправлена без задержки.

Страшно умирать на войне. Даже не по-настоящему.